

ЙОЖЕФ ДЕБРЕЦЕНИ

ХОЛОДНЫЙ КРЕМАТОРИЙ

«За исключением произведений Примо Леви, я не знаю другой такой сильной документальной книги о Холокосте».

ГЕЗА РЁРИГ,
ведущий актер оскароносного
фильма «Сын Саула»

ГОЛОД
И НАДЕЖДА
В ОСВЕНЦИМЕ

Йожеф Дебрецени
Холодный крематорий. Голод
и надежда в Освенциме
Серия «Выжившие. Пронзительные
истории Холокоста»

indd предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70254652
ISBN 978-5-04-198322-2

Аннотация

Йожеф Дебрецени – один из самых одаренных венгерскоязычных журналистов и поэтов. Попав в Освенцим, он должен был умереть ровно через сорок пять минут после прибытия. Строго по утвержденному графику. Именно столько времени требовалось, чтобы полуживых заключенных рассортировали по группам, раздели и отправили в газовые камеры. Однако надсмотрщики решили, что Дебрецени выгоднее не убивать сразу, а заставить работать. Далее последовало мучительное двенадцатимесячное путешествие по «Стране Освенцим». Подобно Данте, автор прошел все круги преисподней: его бросали из одного лагеря в другой, пока в конце концов Йожеф не погрузился в ледяной мрак «Холодного

крематория» – места, где всем положено умирать... И благодаря этому он был спасен.

Мемуары Дебрецени называют «самым суровым и беспощадным обвинением нацизму из когда-либо написанных». Автор показывает механизмы рабства, социальную иерархию в лагерях и способы, которыми нацисты уничтожали не только человеческие тела, но и души всех людей, попавших в мясорубку Освенцима, где нет близости, нет комфорта, нет общности, нет героизма... Ясный и аналитический стиль изложения сочетается с художественной выразительностью текста. И хотя жуткие и натуралистичные описания земного ада порой становятся почти невыносимыми, тем не менее, благодаря таланту и искренности автора от книги невозможно оторваться.

Эхуд Барак, бывший премьер-министр Израиля: «Йожеф Дебрецени был журналистом и поэтом и привнес в эту замечательную работу оба своих таланта. Ее должен прочитать каждый, кто хочет понять варварскую жестокость Холокоста, а также неукротимый дух тех, кто пережил его».

Геза Рёриг, ведущий актёр оскароносного фильма «Сын Саула»: «За исключением произведений Примо Леви, я не знаю другой такой сильной документальной книги о Холокосте».

Содержание

О Йожефе Дебрецени и «Холодном крематории»	10
Часть I	15
Глава первая	15
Глава вторая	26
Глава третья	35
Глава четвертая	52
Глава пятая	61
Глава шестая	72
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Йожеф Дебрецени

Холодный крематорий

Голод и надежда в Освенциме

József Debreczeni

HIDEG KREMATÓRIUM

Copyright © 1950, 2024 The Estate of József Debreczeni

Originally published in 1950 by Testvériség-Egység Könyvk,
Novi-Sad republished in 1975 and 2015 by Forum Könyvkiadó,
Novi Sad

Перевод с английского Ирины Голыбиной

Дизайн переплета Сергея Власова

© Голыбина И.Д., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, ООО «Издательство «Экс-
мо», 2024

* * *



Йожеф Дебрецени

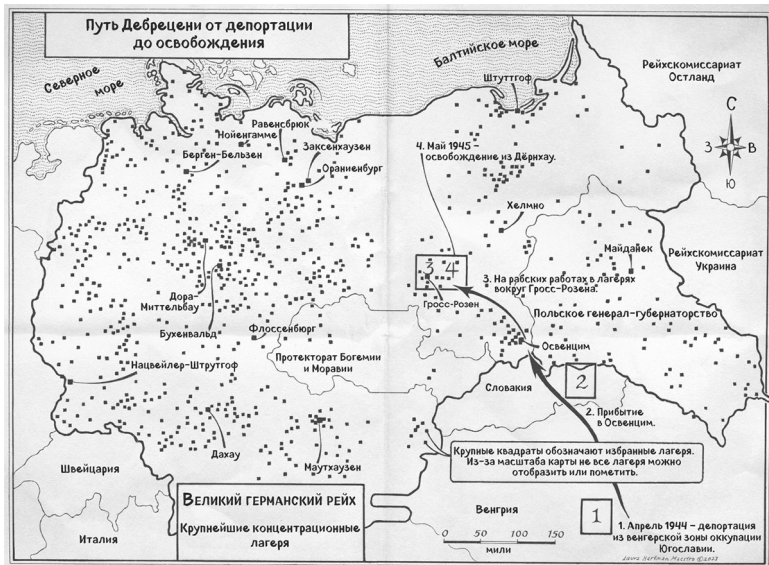
Йожеф Дебрецени — творческий псевдоним Йожефа Брюнера (1905–1978), одного из самых известных венгерскоязычных писателей и журналистов. Его перу принадлежит множество романов, поэтических сборников и пьес, а также блистательных переводов сербской поэзии. В 1925–1938 годах Дебрецени служил редактором в венгерских печатных изданиях, а в 1938 году был уволен в связи с действовавшим антиеврейским законодательством. С 1941 по 1944 год он был отправлен на принудительные работы и в итоге попал в Аушвиц, комплекс концентрационных лагерей, зловеющий символ нацистского террора. По окончании Второй мировой войны Дебрецени сотрудничал с крупнейшими венгерскими СМИ и был удостоен высочайшей премии бывшей Югославии для литературы на венгерском языке — Hid Prize («Мост»). Его книга «Холодный крематорий» переведена на 14 языков.



*Йожеф Дебрецени со своим племянником
Александром Брюнером*



Путь Дребенци от депортации до освобождения



О Йожефе Дебрецени и «Холодном крематории»

Сегодня, когда среди живущих все меньше свидетелей самых страшных событий XX столетия, когда Холокост рискует превратиться в очередную жуткую страницу истории человечества, в нечто далекое и невероятное, такие книги, как «Холодный крематорий» Йожефа Дебрецени, не оставляют шанса взглянуть на произошедшее отстраненно. Благодаря этим свидетельствам мы не перестанем искать ответы на мучительные вопросы. Как такое вообще могло случиться? В чем причина расчеловечивания огромного числа обычных мирных людей? Как, вероятно, самая культурная нация в Европе сумела повергнуть целый континент в состояние столь жестокого варварства?

Подобно дантовскому герою, автор проходит все круги ада, его бросают из одного лагеря смерти в другой, пока в конце концов он не погружается в леденящий мрак «холодного крематория» — места для тех, кто утратил последнюю надежду на спасение. Но когда человек потерял все, выясняется, что не всякую душу можно сломать.

Йожеф Дебрецени — творческий псевдоним Йожефа Брюнера (1905–1978), ведущего представителя литературы на

венгерском языке, писателя и журналиста. Его перу принадлежит множество романов, поэтических сборников и пьес, а также блистательных переводов сербской поэзии. В 1925–1938 годах Дебрецени служил редактором в венгерских печатных изданиях, а в 1938 году был уволен в связи с действовавшим антиеврейским законодательством. С 1941 по 1944 год он был отправлен на принудительные работы, а 1 мая 1944-го депортирован в Аушвиц, комплекс концентрационных лагерей, зловещий символ нацистского террора. По окончании Второй мировой войны Дебрецени сотрудничал с крупнейшими венгерскими СМИ и был удостоен высочайшей премии бывшей Югославии для литературы на венгерском языке – Hid («Мост») Prize.

Книга «Холодный крематорий» была впервые опубликована в 1950 году на венгерском, языке этнического меньшинства, в Социалистической Федеративной Республике Югославия, а через год переведена на сербохорватский, официальный язык страны. Однако прошли годы, прежде чем свидетельства очевидца тех ужасных событий стали доступны широкому кругу читателей. В статичной атмосфере холодной войны хвалебные слова в адрес бойцов Красной армии, освобождавших Освенцим, вставали поперек горла антикоммунистически настроенному Западу, а акцент на том, что уничтожению в основном подверглось еврейское население, взамен более размытого определения «жертвы фашизма», оказался неприемлемым для сталинистов Востока. В

своей родной Югославии, которая не присоединилась ни к одному из силовых блоков, Дебрецени явился голосом поколения для тех, кто готов был его услышать. Книга выходила в государственном издательстве, однако это продолжалось недолго: к 1960–1970 годам Югославия стала недружелюбным местом для евреев... Сегодня едва не утраченный шедевр венгерской литературы переведен на многие европейские языки.

Зорким взглядом профессионального журналиста автор «Холодного крематория», наделенный поэтическим даром, остроумно подмечает животрепещущие детали и одновременно вплетает в повествование размышления о глобальных политических и социальных проблемах, лежащих в основе ужасающей катастрофы XX века. Так личная история превращается в глубокий исторический комментарий.

Дебрецени исследует дьявольски хитроумный механизм нацистской машины, благодаря которому стало возможным величайшее и непостижимое Зло – хладнокровное и методичное уничтожение невинных людей, молодых и старых, полных жизненной энергии и стремлений или немощных и беззащитных. Мы видим, как при помощи тонкого психологического трюка, когда путем мучительных лишений в индивиду подавляется его человеческая сущность, из рабов рождаются самые жестокие палачи. Как равнодушие и страх тех, кого это Зло пока не коснулось, делают из них соучастников

преступления века, превратившегося в обыденность.

Как и некоторые из уцелевших в жерновах фашизма, Дебрецени понимал, что в будущем найдутся те, чья реакция на Холокост будет заключаться в отрицании этого немыслимого кошмара. «Холодный крематорий», эта болезненная и захватывающая книга, — достойный и исчерпывающий ответ всем, кто готов усомниться.

В память о моих любимых

Зачем оберегать мне мир,
Где сорных трав бушует пир,
Не вытравить ничем их?

Зачем мне лето и зима,
Когда родная мать мертва,
Но жив ее убийца?

Возможно, жив, а может, нет,
И для него погаснул свет,
Грех отпустил священник.

За ним охота не идет,
Он песни новые поет
И нежится на солнце.

Герой, пророк ему чужды,

Стихи, науки не нужны,
Он глух к ним от рождения.

А матерей поток идет
Туда, где газ смертельный ждет,
С младенцами в объятьях.

Он лишь смеется, видя их,
Вот газ в их легкие проник,
Разверзлись в ад ворота.

Клинок и атом заодно
Утянут всех людей на дно,
Верша свою работу.

И больше нечего нам ждать,
И в грудь себе зачем стучать,
Раз все осталось в прошлом?

Давно вину свою забыв,
Личину заново сменив,
Он там, где убивал, стоит...

Позирует для фото.

Часть I

Глава первая

Длинный состав из приземистых товарных вагонов с германской маркировкой вздрогнул и замер на месте.

«Остановились», – пробежало по полубессознательной, оглушенной толпе.

Мы ожидали, что вот-вот прибудем на место. Нас загнали в поезд двумя сутками раньше в Бачка-Тополе¹, и с тех пор мы останавливались дважды, на минуту-другую. В первую остановку нам раздали по черпаку жидкого супа. Дверь для этого отодвинули ровно настолько, чтобы проходила миска, – не шире. Во второй раз поезд притормозил посреди поля. Заскрежетали засовы, загремели выкрики конвойных, немцев в травянисто-зеленой форме:

– *Aussteigen! Zur seite! Los! Los!* – На выход! В сторону!

¹ Бачка-Топола, или Топола (венг. *Bácsapolya*, или *Topolya*) – город в Сербии, в автономном крае Воеводина. Один из транзитных пунктов, через который евреев переправляли в концлагерь Аушвиц-Биркенау. Для Йозефа Дебрецени, как и для многих из тех, кто упомянут в книге, венгерский – родной язык. В оригинале автор использует венгерские названия населенных пунктов, существовавшие на момент описываемых событий, в том числе для территорий, которые лежат вне пределов современной Венгрии, где проживало множество венгров. Для удобства читателей в русском переводе приведены современные топонимы.

Живо! Живо!

Нас выстроили возле небольшого леска, на насыпи, заросшей цветами. Никто толком не знал, где мы находимся. В Венгрии, Словакии? Может, в Польше? Конвойные объявили, что можно облегчиться.

– Заходить в лес запрещено! При любом резком движении стреляем!

Сотни и сотни людей толпились на узкой полоске насыпи. В глазах старух плескался ужас. Шесть дней назад эти женщины сидели в своих уютных креслах и обсуждали, что приготовить в воскресенье на обед. Они слушали радио и выглядывали через окно гостиной во двор, ждали новостей от внуков, угнанных на принудительные работы.

Молодые замужние женщины. Пару дней назад они сбрызгивали себе шею и руки одеколоном, а садясь, аккуратно расправляли юбки на коленях.

Девушки. Пятнадцати-, шестнадцати-, семнадцатилетние. Их учили делать реверансы. Дома они оставили школьные учебники, возможно, робкие любовные письма в перевязанных ленточкой, украшенных бумажным кружевом коробках из-под шоколадных конфет и полевые цветы, засушенные между страницами фотоальбомов.

Мужчины. Молодые и старые. Школьники с широко распахнутыми глазами и встрепанные подростки. Взрослые в расцвете лет, пожилые, старики. Все бросились в стороны. Возможности облегчиться не было два дня. Инстинктивно

расставляя ноги, они присаживались на корточки словно животные. Моча собиралась в лужи. Конвоиры, стоявшие рядом с невозмутимыми лицами, не сводили с них глаз. То были не люди. Так же как и сидевшие на корточках у всех на виду.

Там, в Восточной Европе, на краю зеленого леса возле железнодорожной насыпи, с нами произошла катастрофическая метаморфоза. Люди, ехавшие в накрепко запертых вагонах этого адского поезда, превратились в животных. И не только они – сотни тысяч человек, в лихорадке безумия согнанных из пятнадцати стран на фабрики смерти и в газовые камеры.

В тот миг нас впервые поставили на четвереньки.

* * *

Поезд замедляется...

То, что осталось живого, начинает шевелиться в темноте товарных вагонов. Из шестидесяти человеческих существ, севших со мной в вагон в Тополе, пятьдесят шесть еще подают слабые признаки жизни. Первобытный ужас, голод, жажда и духота уже забрали у нас четверых. Их трупы грудой свалены в углу. В основном тут все с юга и из центра Бачки – края в сербской Воеводине. Мандель, старый столяр и добрый друг моего отца, тоже был среди нас. Он умер первым. Мандель многим девушкам из Бачки сделал в приданое

брачные ложа. Достойный, надежный человек.

Думаю, старый столяр умер оттого, что у него отобрали сигареты. Вот уже шестьдесят лет он выкуривал по пять десятков штук в день. Никто и никогда не видел Манделя без дымящейся сигареты. Его запасы, вместе с деньгами и украшениями, конфисковали еще в Тополе. Первые двадцать четыре часа пути Мандель мрачно и напряженно таращился в пространство, на копошащуюся перед ним массу вонючих, потных человеческих тел. За шестьдесят лет работы его руки приобрели цвет красного дерева. Правая время от времени механически поднималась ко рту, точно держала сигарету. Указательным и средним пальцами Мандель подносил воображаемую сигарету к вытянутым губам. Словно ребенок, притворяющийся, будто курит, он даже выпячивал губы, выпуская дым. Но после Нове-Замки² его седая голова упала набок. Смерть столяра не стала особым событием. Она вообще больше не была событием. Только доктор Бакаш из Нови-Сада³ вытянул шею над потрепанным меховым воротником пальто и глянул в его сторону. А потом устало махнул рукой. Доктор Бакаш и сам едва держался. Наверное, он уже представлял, как двенадцать часов спустя другой врач в вагоне засвидетельствует его собственную смерть.

Двое сошли с ума. Несколько часов они непрерывно бес-

² Нове-Замки (венг. Érsekújvár) – город в юго-западной Словакии.

³ Нови-Сад (венг. Újvidék) – второй по величине город в Сербии, административный центр автономного края Воеводина.

новались. С восковыми лицами, пуча глаза в красных прожилках, брызжа слюной, они пытались ногтями вцепиться в лица соседям. Без лишних слов конвойные отволокли их и других таких же несчастных в лес, когда мы остановились, чтобы облегчиться. Несколько минут спустя до нас донесся стрекот пулемета. Один из конвойных в зеленой форме злобно фыркнул и сплюнул на траву.

Мы даже не переглянулись. Слишком долгим был путь.

Путь... куда?

Я сам себе поражался. Этот путь... Суботица⁴, Будапешт, Нове-Замки. *Смотри и запоминай, ты все еще жив, и ты не сошел с ума*, – мелькала в голове мысль. Не то чтобы я много думал. Или думал вообще. Для этого мне тоже – хоть я и умудрялся держаться – была необходима сигарета. А их не осталось.

Озеро Балатон – беспокойное, зеленое, играющее пеной, – показалось в крошечном зарешеченном окошке вагона. В ветреный дождливый день первого мая его волны, похожие на языки, с отвращением отдергивались от нашего поезда. Я увидел Надьканижу⁵. Мы проехали через городок без остановки, хотя в Тополе полицейский с номером 6626 говорил, что именно туда нас везут на работы.

– Не бойтесь, – шептал нам номер 6626, – вы едете в Надь-

⁴ Суботица (венг. Szabadka) – город в северной Сербии, второй по величине в Воеводине.

⁵ Надьканижа (венг. Nagykanizsa) – город на юго-западе Венгрии.

канижу, работать в полях.

Номер 6626 был славным, трезво мыслящим венгерским крестьянином. Он прикрикивал на интернированных, сновавших по двору, – они таскали котлы, набирали воду из колодца либо просто замирали на месте в прострации, – но одновременно, пока не видел конвойный, сочувственно нам подмигивал и качал головой, словно деревенский пройдоха.

Был май 1944 года, и хотя многие венгерские крестьяне еще поддерживали нацистов, остальные начинали понимать, что Дёме Стояи⁶, Ласло Баки⁷, Ласло Эндре⁸, Бела Имреди⁹ – профашистские венгерские лидеры – проиграли. Кто-то должен был расплатиться за кровь, слезы и пинки.

Однако номер 6626 ошибся. Нас везли не в Надьканижу.

Перед нами бездушным зеркалом сверкала река Драу. На другом берегу лежала нацистская Хорватия Павелича¹⁰. Иными словами, смерть. Вот так, в самый разгар жизни. Я поднял руку, вторя бывшему преподавателю греческого,

⁶ Дёме Стояи (1883–1946) – венгерский генерал и дипломат сербского происхождения, занимавший активную прогерманскую позицию, в 1944 году премьер-министр Венгрии.

⁷ Ласло Баки (1898–1946) – один из ведущих членов нацистского движения в Венгрии.

⁸ Ласло Эндре (1895–1946) – венгерский крайне правый политик, пособник нацистов в годы Второй мировой войны.

⁹ Бела Имреди (1891–1946) – премьер-министр Венгрии (1938–1939), основатель профашистской, антисемитской партии «Скрещенные стрелы».

¹⁰ Анте Павелич (1889–1959) – глава ультранационалистической организации Усташей, диктатор Независимого государства Хорватия (1941–1945).

профессору Лендваю. Десятью днями ранее он так же махал мне из окна своего кабинета в Сомборе¹¹, когда нас на улице перед институтом заталкивали в грузовики. Я стоял у заднего борта, с рюкзаком за плечами, в пиджаке с обязательной желтой звездой. Профессор Лендвай, курс которого я окончил в 1924 году с отличными оценками, и другие учителя остолбенело смотрели на грузовик и его перепуганных пассажиров. Наши взгляды встретились, и профессор сделал прощальный взмах рукой. Я все понял.

Миру пришел конец. Все закончилось. Вот что говорил жест Лендвая.

Nenikekas Judaiae... nenikekas Judaiae... – Проклятые евреи... проклятые евреи...

* * *

Заклученные идут по вытоптанной земле лагеря для интернированных в Тополе. Старики бредут еле-еле, сцепив руки за спиной. Знакомые исподтишка обмениваются взглядами, их глаза полны слез. Здесь практически весь персонал ежедневной югославской газеты, выходившей на венгерском языке: редакторы и остальные служащие, старые и молодые. За маской цинизма мы прячем отчаяние.

¹¹ Сомбор (венг. Zombor) – город в Сербии, в автономном крае Воеводина. В Сомборе Йожеф Дебрецени был арестован и переправлен в Бачка-Тополу для дальнейшей пересылки в Аушвиц-Биркенау.

– Женщин и детей угнали вчера, – говорит Лайош Явор. У него больное сердце, и он спотыкается на ходу. Его бесцветные губы мелко дрожат, на лице застыла жалкая улыбка. – Из Суботицы, Сомбора, Нови-Сада. Отовсюду. Их угнали отовсюду.

Доктор Янош Мориц, прежде главный редактор – когда-то именно ему я, трепеща от предвкушения, передал свой первый материал, – протирает стекла пенсне и рявкает на меня: – Переведи на венгерский, раз уж ты переводчик.

У всех в глазах безнадежность. В уродливом здании из красного кирпича на полу разбросаны сырые ветхие соломенные матрасы. Интернируемые сидят на грудах чемоданов и рюкзаков, отрешенно пялясь в пространство. Курево больше никто не экономит. Никому нет дела до завтрашнего дня. Даже до следующей четверти часа. Отчаяние не знает календарей, и планировать нам нечего. Завтра покрыто туманом, таким беспросветным, что с тем же успехом оно могло быть следующим тысячелетием, когда люди будут расхаживать в пеплумах и туниках, когда не будет лагерей и, возможно, не станут наказывать невиновных.

Завтра... Кто беспокоится о нем? В конце концов, даже женщин всех угнали. И детей. Но зачем? Боже всемогущий, зачем? Мы не осмеливаемся додумать эту мысль. Тут, в Тополе, некоторые слышали про Аушвиц¹² – хоть и немного.

¹² Аушвиц. – Для обозначения концентрационных лагерей Освенцима/Аушвица в большинстве европейских языков традиционно используется название

Обрывки информации об ужасах польских гетто все-таки добрались до нас, это правда, и мы, стуча зубами, вспоминали о депортации женщин из Словакии. Но еще вчера все казалось таким далеким, почти невероятным! Никто всерьез не предполагал, что нас угонят из дома, за границу – тысячи и тысячи безвинных. Мы пытались бодриться; кто-то обсуждал технические трудности:

– У нацистов и без того полно проблем. Где взять уголь, вагоны, паровозы и людей, чтобы провернуть такую массовую депортацию?

Это говорил Бела Маурер, адвокат и политический комментатор, тоном, не допускающим возражений. Другие вторили ему. Не всем венгерским рабочим и крестьянам задурили головы коричневорубашечники с их безумием. Они инстинктивно чувствовали, что у руководства страны слабеют силы. Самые храбрые перешептывались в пивных о зверствах, творящихся повсюду. И злорадно улыбались цветистым фронтовым коммюнике с расхожими эвфемизмами вроде «стратегического отступления», «перегруппировки» и «передислокации».

«Аушвиц» (Auschwitz). По названию польского города Освенцим (польск. Oświęcim, нем. Auschwitz), возле которого немецкие оккупационные власти в 1940 году организовали комплекс концентрационных лагерей и лагерей смерти Аушвиц-Биркенау (нем. Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau), освобожденных советскими войсками в конце января 1945 года. Однако в русской литературе и документах принято использовать название «Концентрационный лагерь «Освенцим» или краткий вариант «Освенцим». Из уважения к автору название концлагеря оставлено в переводе «Аушвиц».

На венгерской земле на немцев уже начали бросать мрачные взгляды. Люди видели то, чего не замечали их предводители: усталых, потрепанных, небритых рядовых вермахта; туповатых апатичных эсэсовцев, чьи безжалостные глаза прятались все глубже под каски; неоперившихся пятнадцатилетних и шестнадцатилетних юнцов, одетых в рубахи из парусины, – армию немецких «союзников», оккупировавшую страну. Они понимали, что им придется уйти и возврата назад не будет. Пустые улицы, заколоченные окна, хмурые лица. В ожидании неминуемых ужасов деревни в Бачка-Тополе замирали; в воздухе повисло предчувствие бури.

Когда мы отправились в четырехкилометровый марш из лагеря в Тополе к железнодорожной станции, никто из нас – ни мужчины с чемоданами и рюкзаками, ни ковыляющие дети, ни измученные женщины – не знал об Аушвице. А вот венгерские полицейские со штыками, которых немцы расставили на каждых пятидесяти метрах вдоль дороги, – те знали.

В глазах полицейских пылала ненависть. Та самая заботливо возвращенная ненависть, которая заставляла их подчиняться приказам и не задавать вопросов. Но даже среди них были те, кто еще сохранил здравомыслие и простое крестьянское жизнелюбие, которые пробудились теперь при виде небывалого зрелища. Несколько вооруженных полицейских, стоявших вдоль дороги, прошептали нам вслед:

– Спаси вас Бог!

Плеться мимо них в полузабытьи, мы не поднимали го-

лов, но то многозначительное напутствие все еще звучало у меня в ушах, когда я впервые увидел наш поезд, стоявший на платформе. На вагонах была эмблема «DR» – Deutsche Reichsbahn (Немецкие национальные железные дороги), – и она говорила куда больше, чем германские конвоиры, сопровождавшие нас. Все-таки депортация. Лучший исход – газовая камера. Худший – рабский труд и смерть.

Подумать только, мы еще жалели тех восьмерых, которые покончили с собой в лагере, когда поступил приказ об отправке! Теперь стало ясно, что наши венгерские лагеря – всего лишь сборные пункты. Все это казалось еще более-менее терпимым, пока мы могли говорить себе, что нас держат тут, чтобы потом переправить куда-то в Венгрии. Топола, Бачка... Как это характерно для человека – цепляться за надежду, чтобы не впасть в отчаяние. Топола все-таки была отчасти домом.

Мы продолжали надеяться, и нас поманили сомнительным, если не полностью ложным, обещанием безопасности, которую вроде как обеспечивали венгерские королевские жандармы с четырехзначными номерами на бляхах. Ловя взглядом знакомые пейзажи, мы уговаривали себя, что по-прежнему находимся в собственной стране. Пускай венгерские нацисты такие же жестокие, как немецкие. Такие же безжалостные. Но их изобретательность – так нам казалось – все-таки не дошла до садизма газовых камер.

Глава вторая

Поезд замедляет ход.

Мы карабкаемся к окошку, вытягиваем шеи, чтобы выглянуть за решетку. Нам снова интересно. В последние двадцать четыре часа мы даже не поворачивались в ту сторону. Что там можно увидеть? Один Рубинфельд время от времени бросал взгляд наружу.

Рубинфельд оказался в нашем вагоне две ночи назад при исключительных обстоятельствах. Поезд тогда тоже затормозил, а потом резко встал. Дверь вагона откатилась в сторону, и чьи-то руки затолкали внутрь человека, залитого кровью. Мы уставились на него. Судя по всему, именно из-за этого остановили поезд. С приходом рассвета первые солнечные лучи пробились в вагон, и некоторые из нас узнали Рубинфельда. Еврей, беженец из Львова, он был одним из тысяч несчастных, кого продвижение гитлеровских войск сорвало с насиженных мест и гнало через пол-Европы. Он успел побывать в Вене, Праге, Варшаве, Белграде и Будапеште. И так оказался в Бачке. Там он жил – или, точнее, прятался, – несколько месяцев, в Нови-Саде. От полицейских, если те проверяли у него как у иностранца документы, он либо сбегал, либо откупался.

Понадобилось два часа, чтобы он набрался сил и смог рассказать о случившемся. В Тополе немцы назначили

Wagenälteste – «старшего» – в каждом вагоне. Назначение происходило просто. Конвойный-немец выкрикивал в сторону первого дрожащего интернированного, какой попадался под руку:

– Вонючий еврей, будешь старшим по вагону! – Потом добавлял таким тоном, будто дрессирует собаку: – Так кем ты будешь, вонючий еврей?

– Старшим по вагону.

– Правильно. Знаешь, что это такое?

– Нет.

– Ну так я тебе объясню, – жизнерадостно говорил конвойный в зеленой форме. – Старший головой отвечает за каждого *вонючего жиды* в своем вагоне. Если один из них во время поездки сбежит, мы тебя расстреляем. *Ist es jetzt klar* – теперь тебе ясно?

– *Jawohl* – слушаюсь, – бормотал бедняга.

В нашем вагоне эта трагическая «честь» досталась Зонненталю, старому маклеру, страдавшему тяжелой формой атеросклероза. Даже дома жизнь в нем теплилась едва-едва, но он, к несчастью, стоял ближе всех к дверям, когда конвойный ворвался в вагон и «назначил» его. Зонненталь не пытался спорить. Он ограничился тем, что обвел нас слезящимися глазами и прошептал:

– Вы же не сделаете никакой глупости, правда? Потому что тогда... сами понимаете... расстреляют меня.

И правда, в нашем вагоне никто «глупости» не сделал.

В конце концов, побег был крайним средством, потому что означал практически неминуемую смерть. Если бы кому-то удалось добраться до крошечного квадратного окошка под потолком и выбить решетку, этот человек, вероятно, и сумел бы протиснуться наружу. Тогда – теоретически – у него появлялась возможность выбраться из этого ада и сбежать по железнодорожным путям. Однако спланировать момент прыжка было никак нельзя. Все зависело бы от угла, под которым несчастный обрушится на землю. В нашем вагоне никто не попытался, зато там, где Рубинфельда назначили старшим, шестнадцатилетний парень, со страху сошедший с ума, все-таки попробовал. Для этого он воспользовался короткой ночной передышкой, когда в вагоне наступило молчание и все впали в подобие ступора. Он знал, что остальные, если заметят, попытаются ему помешать. Его план удался: парень пролез через окно. Однако дежурный из служебного вагона в начале поезда увидел, как тот спрыгнул.

Резкий короткий свисток пререзал грохот паровоза и стук колес. Поезд остановился. Конвойные соскочили на землю и уже через несколько минут нашли беглеца: он разбился насмерть об острые камни насыпи. Дальше они ворвались к Рубинфельду в вагон.

– Где старший? – закричал один из них.

Рубинфельд, бледный как привидение, сделал шаг вперед.

– Ты слышал приказ. У тебя в вагоне попытка бегства, так что мы расстреляем старшего. Отправишься в ад, вонючий

еврей! Расстрелять его! Сейчас же!

Рубинфельда выволокли из вагона. Стук пулемета прорезал ночную тишину, потом раздался гудок паровоза. Мы снова ехали.

Остальные в вагоне Рубинфельда считали, что их старший мертв. Однако во внезапном приступе великодушия – возможно, вызванного зрелищем изуродованного тела мальчишки на камнях насыпи, – конвойные стреляли в воздух, а не в Рубинфельда. Они притащили жертву к себе и удовольствовались тем, что до полусмерти избили его прикладами винтовок. А потом бросили практически бездыханное тело в ближайший вагон – наш.

Вот как польский еврей с печальными глазами оказался с нами. Понадобилось несколько часов, чтобы немного привести его в чувство. У нас были бинты, вата и антисептик. Мы перебинтовали ему разбитую голову, покрытую жидкими седыми волосами в запекшейся крови.

Оставшуюся часть поездки Рубинфельд служил нам гидом, главным источником информации, чуть ли не пророком. К несчастью, не бывает пророков в своем отечестве. Местность он знал как свои пять пальцев. В мирное время этот человек постоянно разъезжал здесь по делам; ему была знакома каждая железнодорожная линия, каждая стрелка, а также все природные и рукотворные приметы, позволявшие определять наше местоположение. Когда поезд с характерным перестуком проезжал по стрелке, Рубинфельд подни-

мался, с трудом подходил к окну и выглядывал в ночь.

– До сих пор неясно, куда они нас везут, – сначала говорил он. – Километров через шестьдесят-восемьдесят будет еще стрелка.

Он упоминал множество названий польских станций с их изобилием согласных.

– Сейчас поворот будет означать Австрию, Германию либо Польшу.

– Но это уже не имеет значения, – отозвался кто-то со вздохом, и остальные закивали.

Рубинфельд спокойно ответил:

– Очень даже имеет. Австрия – это жизнь. Там у нас будет шанс. Может, отправят на сельскохозяйственные работы. Австрийские крестьяне не особо жестокие.

– А Рейх?

– Там шансов куда меньше. Скорее всего, работа на фабрике. Или на строительстве железной дороги. Может, расчистка завалов в городах под угрозой налетов с воздуха. Евреям заходить в бомбоубежища запрещено. Голод. Побои. Нет, в Рейхе не выжить.

Он замолчал. Кровь проступила через повязку у него на голове.

Мы миновали еще несколько стрелок. Слабый свет зари начал пробиваться в окно. Третье утро на нашем адском пути. Рубинфельд снова заставил себя подняться. Мы выглянули в окно. Поезд двигался по полоскам железнодорожных

рельсов на восток. Слева промелькнули и скрылись очертания станции с польским названием.

Старик снова сел, не глядя нам в глаза.

– Аушвиц, – сказал он, помолчав, негромко, словно обращаясь к самому себе. – Теперь все ясно. Вариантов нет. Там линия заканчивается.

В нашем вагоне было много тех, кто услышал это название впервые. Некоторые вспомнили, как читали про американский фильм, где показывались ужасы газовых камер. Естественно, в Венгрии этот фильм в прокат не прошел.

Аушвиц...

В 1939 году, после капитуляции Польши, Рубинфельд уже испытал на себе, что такое гетто. Он единственный из нас знал, как устроены гигантские нацистские фабрики смерти. Только те, кто стоял к нему ближе других, смогли расслышать его слабое, прерывистое бормотание. В любом случае мы не хотели знать подробности. Вскоре нам предстояло погрузиться в ад, который еще совсем недавно казался далеким и туманным.

Некоторые бросали на Рубинфельда недоверчивые взгляды. Даже сейчас те описания ужасов, которые все-таки достигли наших ушей – ушей тех, кто рос в буржуазной благополучной среде, – казались надуманными, словно в книгах. Тем не менее колеса поезда со стуком приближали нас к столкновению с реальностью.

В конце концов нам пришлось поверить. И мы поверили.

Причем с удивительным равнодушием. Кое у кого в вагоне еще оставалась еда. Немного, потому что в Тополе, когда у нас конфисковали продукты, большинство скудных запасов уже было съедено. Со свойственной нацистам предательской доброжелательностью немецкие конвойные убеждали своих жертв, что достаточно взять пищу на сорок восемь часов, потому что дальше нам ее предоставят. Вот почему у нас в основном не было совсем ничего, а тем, что оставалось, мы делились.

Тот третий рассвет быстро превратился в сияющее весеннее утро. Солнце заливало темный вагон, пропахший страданием и густой вонью невымытых тел.

В этой весне для нас не было места.

Чуть позже поезд снова начал двигаться с обычной неспешностью. Угрожающего вида горы остались позади. Мы катились по плоской равнине, похожей на венгерские.

Снова подойдя к окну, Рубинфельд произнес:

– Будем в Аушвице спустя полчаса.

С этого момента все вокруг превратилось в мучительный, непреодолимый кошмар, вроде тех, которые одолевают после чересчур сытного ужина. На изумрудно-зеленом поле мы увидели существ в странных костюмах, словно наряженных для карнавала. Они ковыляли вперед, повторяя одни и те же движения – как в замедленной съемке. Качнувшись, делали короткий шаг и снова замирали. Мужчины были одеты в лохмотья – обноски серых, черных и синих повседневных

костюмов; женщины – в грязные коричневые рабочие платья. На некоторых комично трепались по ветру широченные брюки. Привидения. Пугала. Костюмы пестрели пятнами ярко-желтой и красной краски, рассыпанными в беспорядке по груди, ногам, спине. Из поезда, проходившего в нескольких сотнях метров, все выглядело так, будто они печально шагают под звуки похоронного марша. Эти призраки выполняли сельскохозяйственные работы.

Больше всего поражало то, как сильно они клонились вперед – словно волокли неподъемный груз.

Рубинфельд все объяснил:

– Депортированные. Из Аушвица.

– А одежда? Почему на них такая дурацкая одежда?

– Некоторым досталась та, которую сняли с убитых в газовых камерах. Краской ее обрызгивают специально – чтобы и без тюремных роб заключенные бросались в глаза. С такими пятнами узник виден за километр.

Поезд уже ехал мимо нескончаемых дымовых труб, складов, груд бочек и ржавых скелетов аэропланов. Черные полосы рельсов перед нами тянулись к станции. На соседних путях стоял состав из устаревших пассажирских вагонов. Женщина в платочке выглядывала в окно; слышался детский плач. Мужчины толпились на платформе, курили. В руках у них были ящики для инструментов, сумки и чемоданы. От платформы к платформе расхаживал железнодорожный служащий в белой фуражке.

На нас никто и не глядел. Мы были слишком хорошо одеты, чтобы считаться обреченными, или такие поезда смерти давно стали тут обыденностью? Я не знаю этого по сей день.

Из дыма за окнами материализовалось коричневое здание вокзала. Оно ничем не отличалось от тех провинциальных вокзальчиков, которые я столько раз видел, путешествуя на поездах. На фасаде и с каждой стороны здания были только вывески на немецком: AUSCHWITZ. В «генерал-губернаторстве», которым стала Польша, больше не существовало городка Освенцим.

Сам город показался минуту спустя. Паровоз со свистом сбросил пар и замер.

Девять часов вечера. Мы прибыли на место.

Глава третья

Опять мы бросились к окну. Охранники повыпрыгивали из пассажирского вагона впереди состава. Группами по двое-трое они подбегали к вагонам и сдвигали засовы. Те скрипели, неохотно поддаваясь. Дверь распахнулась. Солнце и сладкий прохладный утренний воздух ворвались внутрь. Я сделал несколько глубоких животворных вдохов. Поглядел на осунувшиеся лица попутчиков и увидел в них свое.

Аушвиц...

К вагону подошел подтянутый эсэсовский офицер. Охранник в зеленом выпрямил спину и выкрикнул приветствие. Офицер кивнул, и тут же прогремела команда:

– Вылезать, с вещами. Всем построиться перед своими вагонами. *Los!* – Живо!

Ветер продувал насквозь – кажется, сто лет я такого не чувствовал, – а солнечный свет резал глаза. На мне была теплая дубленая куртка, которая прошла со мной через четыре трудовых лагеря, и все равно я невольно поежился. Скорее всего, не из-за ветра, а в ожидании неизвестного. Рядом со мной Маркус, богатеи из Суботицы, ожесточенно вгрызлся в хлебную корку. У него давно закончились любимые сигары: окурки последней вонючей «Виргинии» он выплюнул из своих толстых губ еще на подъезде к Нове-Замки. Кто знал, о чем он думал в тот момент? Сорок лет этот человек гонялся

за миражом, исчисляемым в цифрах: деньгами. А теперь его раздавят словно клопа – вот этот самый охранник, который выдернул у него из рук сумку с сокровищами, скопленными за долгие годы.

Тем временем конвоиры в зеленом с помощью пугал, перепачканных краской, выгружали из вагонов мертвецов. Заключенные работали споро и бездумно. Они бросали тела на ручные тележки – вполне возможно, там еще были живые, – и увозили, не говоря ни слова.

Новый приказ:

– Багаж оставить перед вагонами! Построиться колонной по пятеро!

И снова мы выстроились в колонну, как перед отъездом из Тополы, но теперь нас стало заметно меньше: всего тысяча или тысяча двести человек были еще способны стоять на ногах.

Мы бросали отчаянные взгляды на свои вещи. Если брать их нельзя, это, скорее всего, означает скорую смерть. А мы-то рассчитывали при необходимости обменять одеяла, теплую одежду и крепкие новенькие ботинки на еду.

Процессия медленно тронулась с места; правда, откуда-то просочилась утешительная новость: багаж повезут на грузовиках.

После нескольких сотен шагов нам приказали остановиться. Большая, почти идеально квадратная площадка. По величине чуть ли не такая же, как Октагон, что пересекается

Большим бульваром в Будапеште. Везде бараки; из труб поднимается дым. Справа черно-желтый шламбаум перекрывает аккуратно заасфальтированную дорогу. Сторожевая вышка. Караульный с автоматом расхаживает взад-вперед возле деревянной постройки, из бойниц которой торчат дула пулеметов. Вокруг стоят пятнадцать-двадцать грузовиков с вооруженными эсэсовцами. Охранники в зеленом, сопровождавшие нас, куда-то исчезли. На площади только серые эсэсовские мундиры – званием постарше и помладше, – насколько хватает глаз.

Сначала от нас отделили всех женщин. Парализованные страхом, они, спотыкаясь, одна за другой побрели вперед. Сотни мужчин со слезами на глазах наблюдали за тем, как их жены, матери и дочери растворяются вдаль. Матери и дочери судорожно держались за руки, словно подруги. Редкие серебристые волосы трясущихся старух блестели на солнце. Молодые женщины пытались успокоить младенцев, оравших от страха, или просто прижимали их крепче к груди. В растянутой заплетающейся колонне женщины и девушки исчезли навсегда. Мгновение спустя бараки поглотили их, но детский плач слышался еще какое-то время.

К нам подошли четверо: двое офицеров – высокий в золотистых очках, с бумагами в руке, и другой, с портфелем, – а при них двое штурмовиков с ледяными лицами. Они встали по двое напротив друг друга. Мы должны были проходить поочередно через этот живой коридор. Мужчина с бумагами

заглядывал каждому из нас в лицо и взмахивал рукой. Направо или налево. Остальные трое толкали жертву в том направлении, которое ей было указано.

Направо или налево. К жизни в рабстве или к смерти в газовой камере.

Те, кому суждено вернуться домой, еще узнают, что означало попасть налево. Но тогда мы этого не понимали. Судьбоносный момент пролетел незамеченным среди прочих.

Седых, больных, близоруких и хромых отправляли влево. Так значит, это «медицинский осмотр»? Спустя полчаса образовалось две почти равные колонны, левая и правая. Четверо немцев наскоро посоветовались, после чего один из них встал между двух групп.

– До лагеря десять километров пути. Вы, – он указал влево, – кто старше или слабее, поедете на грузовиках, остальные пойдут пешком. Если кто-то в правой колонне считает, что столько не пройдет, может перейти в левую.

Наступила долгая тяжелая пауза. Приговоренные и палачи глядели друг на друга. Объявление, сделанное таким естественным, отстраненным тоном, не вызвало ни малейшего подозрения. Лишь некоторые из нас удивились подобной снисходительности. Это было совсем не в стиле нацистов. Многие тем не менее решились перейти. Даже я непроизвольно сделал движение в ту сторону. Но тут мимо нас проехала одна из тележек с мертвецами. Ее колеса тарыхтели в нескольких шагах от колонн. Заключение, толкавший

тележку, не поднял глаз, но я услышал его тихий голос:

– *Hier blieben! Nur zu Fuss! Nur zu Fuss!* – Не двигайтесь! Только пешком! Только пешком!

Он повторил это несколько раз, но лишь немногие разобрали его спасительное предупреждение. Я принял решение. Пеший переход страшил меня, но я все-таки остался – скорее, повинаясь инстинкту, внезапно проснувшемуся внутри, чем словам товарища, толкавшего тележку. Я схватил за руку своего соседа, Писту Франка:

– Стой на месте, – шепнул я ему.

Он нервно вырвал руку и отошел. Другие тоже. Наша колонна заметно поредела. Эсэсовцы, усмехаясь, перешептывались и тыкали в нас пальцами. Когда те, кто предпочел перейти, отделились, нашу группу окружили два взвода охранников, вооруженных штыками. Мы отправились в путь.

Те, кто слева, так и остались стоять. Мы прошагали совсем близко от них. Там были Горовиц – старый больной фотограф; Понграш – фермер, выращивавший пшеницу; мастер Лефковиц, чей роскошный, доставшийся ему по наследству магазин мужской одежды на главной улице исправно поставлял мне шелковые галстуки и сорочки в годы безмятежной юности; Вейц – хромой книготорговец; Порцаш – тучный до невозможности джазовый пианист, который в самом модном кафе Суботицы воспроизводил последние хиты пусть и без технического совершенства, зато с безграничной самоуверенностью. Там, с опущенными уголками рта, потрепан-

ный жизнью, с шестидневной седой щетиной, стоял Вольдман, преподававший венгерскую и германскую литературу в Королевской венгерской школе в моем родном городке. Хертеленди, полоумный карлик, которого все звали фронтовым дурачком – неизвестно почему. Кардош, сердечник-адвокат из Сегеда¹³. Он был примерно моего возраста, мы уже четыре раза встречались на принудительных работах. Известный проныра, Кардош всегда умудрялся уклониться от тяжелого труда. В последний раз, прощаясь в Ходмезёвашархее¹⁴, мы сказали друг другу: «Увидимся на следующем сборе». И теперь он стоял в своем ярко-желтом вельветовом «рабочем костюме», как сам его называл; в последнее время он не носил ничего другого. Его глаза лукаво блеснули из-под очков в роговой оправе, пока он провожал взглядом нашу колонну. Он явно думал, что сделал правильный выбор. С какой стати тащиться десять километров пешком!

Мы, остальные, шли вперед. Я вглядывался в лица – знакомые и незнакомые. С кем-то мы раньше встречались, с кем-то нет. Десять, сто, пятьсот... Грузовики уже заводили моторы. Красно-черно-белая решетка поднялась перед нами, и мы вступили на асфальтовую дорогу, которая тянулась вдоль барачных. Дула пулеметов на сторожевой вышке мед-

¹³ Сегед (венг. Szeged) – третий по величине город Венгрии, расположенный на юге страны.

¹⁴ Ходмезёвашархей (венг. Hódmezővásárhely) – город на юго-востоке Венгрии, в долине реки Тисы.

ленно развернулись в нашу сторону.

Тех, кто остался в левой колонне, мы не увидим больше никогда.

* * *

Охранники со штыками, окружавшие нас сзади, спереди и по бокам, беспощадно гнали колонну вперед. К чему была такая спешка? Одно мы понимали: вещей, оставленных возле вагонов, мы больше не увидим. Характерный для нацистов прием: ограбить людей, не вступая с ними в борьбу. Процедура куда более быстрая и – что еще важнее, – не требующая многочисленных формальностей. Меньше точек над «i» и перекладин на «t», меньше работы администрации. Венгерские ученики нацистов потели над бумагами, составляли списки и вели учет в ходе своих грабежей. Немцы значительно все упростили.

Мы проходили мимо бесконечных рядов унылых деревянных бараков. Марш был изматывающим; я запыхался, от холодного воздуха закружилась голова. Наконец мы увидели людей. За заборами из колючей проволоки заключенные в серо-синих полосатых робах из мешковины обслуживали гигантские грохочущие бетономешалки. Они шаркали деревянными башмаками не по размеру, из которых торчали стертые в кровь пальцы. Я не мог – не хотел! – представить себе, что через пару часов нам тоже прикажут избавиться от

последних воспоминаний о доме: от одежды на наших телах.

На огромном поле, огороженном колючей проволокой, валялись остовы самолетов. Проржавевшие, они торчали из земли, устремляясь вверх; в стороны от них расходились ключья смятой обшивки. На остатках крыльев были видны эмблемы – немецкие, русские, британские и американские. Кладбище самолетов производило здесь особенно пугающее и тягостное впечатление. Между бараками простирались неровные глинистые картофельные поля. Людей там практически не попадалось. Вот уже полчаса мы слышали только нетерпеливые окрики конвойных:

– *Los, los!* – Живее, живее!

Потом были рельсы, а за ними опять бараки. На этот раз по несколько этажей. На одном я увидел деревянную табличку: *Häftling Krankenhaus* – лазарет для заключенных. Стоя у входа, на нас таращился мужчина с рукой в лубках. Мы и не заметили, что дорога стала оживленнее.

И вот перед нами Аушвиц, где в деревянных бараках тысячи депортированных со всех уголков Европы теснятся по воле тех, кто сошел с ума от расовой ненависти.

Мы шли через перекрестки с указателями; на одном было написано «Блок 21». Люди, телеги, машины – все было как в городе, только здания деревянные, а не каменные, и люди больше похожи на скелеты в полосатых униформах из мешковины. Вместо улиц – «блоки», то есть один или несколько барakov под общим командованием.

Люди-скелеты перетаскивали балки, ящики и бочки, толкали ручные тележки. Грузовики обгоняли друг друга по прилегающим улицам. Все это напоминало какую-то гротескную пародию.

На углу мы столкнулись с несколькими фигурами в мешковине, которые, кряхтя от натуги, волокли рельс. Им пришлось остановиться, чтобы мы смогли пройти. Они не выказали удивления при виде нас, а вот мы – да. Узники обратились к нам на венгерском.

– Значит, и вам не повезло оказаться в месте получше, – усмехнулся один из них с притворным сочувствием.

Нас оглушила какофония криков:

«Бросайте жратву!» ... «Сигареты, расчески, ножи!» ... «Есть у кого хавчик? Быстро!» ... «Сигареты, сигареты!» ... «Кто-нибудь есть из Кошице?»¹⁵ ... «Из Орадя?»¹⁶ ... «Лученец?»¹⁷ ... «Кто из Будапешта?! Будапешт?!» ... «Какие новости дома?» ... «Жрачку! ... Скорее!.. Бросайте!» ... «Продукты, продукты!» ... «Идиоты, у вас все равно все отберут в душевых!»

В шоке, мы тупо таращились на кричавших. Подошел эсэсовец, и люди с рельсом утихли. Мы тоже молчали.

– *Стой!* – последовала команда.

Мы вразнобой, в беспорядке остановились в конце улицы

¹⁵ Кошице (венг. Kassa) – город на востоке Словакии.

¹⁶ Орадя (венг. Nagyvarad) – город в Трансильвании, на северо-западе Румынии.

¹⁷ Лученец (венг. Losonc) – город в центральной Словакии.

у длинного одноэтажного барака. Вывеска на фасаде гласила: *Schreibenstube* – «Канцелярия».

Несколько заключенных шагнули в нашу сторону. Их движения были уверенными, костюмы в полоску – получше и поновее. На ногах – ботинки, отполированные до блеска. На груди у каждого нашиты треугольники из яркой цветной ткани. Под ними – хромированные бляхи с четырехзначными номерами. Голубые повязки на рукавах украшали узоры – привет с родины – и надписи: *Blockälteste* – старшина блока.

Старшины были сама заносчивость и самоуверенность. С виду они мало чем отличались от остальных. Но только с виду.

Так мы впервые встретились с большими шишками: лагерной аристократией, проклятыми богами этого проклятого мира.

* * *

Сразу расскажу о том, чего я не знал тогда, но позднее, за четырнадцать месяцев, прочувствовал в полной мере, хотя почти не выходил из полузабытья. Нацисты специально, с присущей им систематичностью, учреждали в лагерях смертно хрупкую иерархию парий. Их самих за колючей проволокой были единицы. Распределением еды, насаждением дисциплины, прямым надзором за работами и наказаниями на низшем уровне занимались надсмотрщики, выбираемые из

общей массы в случайном порядке, – иными словами, исполнительная власть.

За этим, безусловно, стояла психология. Тот, кто выдумал такую систему, хорошо знал глубинную природу человека. За исполнение своих изуверских обязанностей надсмотрщики, избранные немцами из числа заключенных, получали не только суп погуще, одежду получше и возможность воровать, но еще и власть – самый сильный наркотик. Безграничную власть над жизнью и смертью. Была создана разветвленная структура должностей, практически одинаковая во всех лагерях, и ее старательно придерживались. Начальство набиралось прямо из транспортов, раньше других прибывших на место будущего лагеря. Эсэсовский шарфюрер тыкал пальцем в первого попавшегося пленника:

– Будешь *Lagerälteste* – старшиной лагеря.

Другого «назначали» лагерным писарем. Эти двое набирали остальных. Естественно, выгодные должности старались дать родственникам, друзьям и знакомым. Вот как получалось, что все начальство в лагере могло состоять из жителей одной области, а то и одного городка. Только рядовых вербовали из транспортов, прибывавших позднее.

На самой нижней ступени лестницы лагерного командования стояли младшие «капо». Каждый руководил бригадой из десяти-пятнадцати человек, которая работала на строительстве по заказу какой-нибудь частной компании, платившей за рабский труд. Нацистское государство получало от двух

до двух с половиной марок за раба. Обязанностью младшего капо было заставлять заключенных трудиться – под присмотром гражданского прораба, *Meister*, и охранника-эсэсовца, *Posten*, – с помощью хлыста, дубинки, а то и железного прута. Обычно капо действовал как «настоящий мужчина», поскольку, прояви он хоть чуточку добросердечия или снисходительности, прораб избил бы его самого и снял бы с должности. А это означало конец иммунитету от работ, убийственных для души и тела, и возможности выбраться живым из окружающего ада.

Тем не менее младший капо не мог причислять себя к высшим кругам лагерной аристократии. Он спал вместе с остальными заключенными и, как все, стоял в очередях за супом. Однако вместо лопаты, кирки или кувалды в его руках был кнут.

Выше по рангу, как на Олимпе, были капо первого и второго уровня в частных компаниях. Эти уже пользовались различными привилегиями и преимуществами. В офисах компании они становились практически своими. Им вручали список работ на день. В их обязанности входило проводить по утрам *Appell*, перекличку, среди пятисот-шестисот заключенных, выделенных компании, и, вместе с эсэсовскими охранниками, сопровождать их на распределительный пункт. Там уже ждали прораб и младшие капо. Они разбивали рабов на команды, которые расходились по рабочим местам – обычно за несколько километров друг от друга.

Капо при компаниях пользовались снисходительной благосклонностью руководства, а также людей Тодта – инженеров и прочих, связанных с Фрицем Тодтом¹⁸, нацистским лидером, придумавшим сдавать рабов частным компаниям внаем. Что-нибудь им всегда перепадало: сигаретные окурки из пепельниц в конторе, изредка стаканчик бренди, вина или пива, а то и целая пачка сигарет, каравай хлеба или хорошая одежда.

Это была важная должность не только из-за власти, но и потому, что капо при компании пользовался большей свободой и чаще контактировал с миром за колючей проволокой. В лагере он теснее всех сотрудничал с *Lagerälteste*, верховным божеством. Он получал более съедобный суп, сваренный в отдельном котле для аристократии, и свою долю из продуктовых запасов, награбленных при распределении пайков: сахара, маргарина, джема, искусственного меда, сыра и, в первую очередь, хлеба, означавшего жизнь. Легко представить, сколько продуктов, поступавших в гигантских ящиках и бочках, «откладывалось» при распределении пайков на две-три тысячи заключенных. Эти запасы хранились под замком у старшины лагеря и его непосредственного окруже-

¹⁸ Фриц Тодт (1891–1942) – рейхсминистр вооружения и боеприпасов Германии (1940–1942). Военно-инженерная организация Тодта занималась строительством важных военных объектов, железных дорог и автомагистралей, снабжала промышленность работниками принудительного труда, курировала строительство концентрационных лагерей.

ния. В госпитальном лагере в Дёрнхау¹⁹ я видел три больших мешка сахара, несколько ящиков маргарина, сотни и сотни банок мясных консервов, припрятанных в начальственной кладовой.

С лагерями сотрудничали в основном четыре или пять больших компаний, однако количество капо было куда больше. Каждый держал при себе двух-трех ординарцев, обычно подростков четырнадцати-пятнадцати лет. Даже эти мальчики на побегушках имели определенную власть. Повязку на руке капо украшало название компании и его ранг. Например, для заключенного надпись KAPO I.G. URBAN TIEF-UND HOCHBRAU A.G. означала, что он стоит перед капо компании Urban и ему лучше побыстрее сдернуть с головы полосатую тюремную шапку.

Должность капо лагеря была практически равна капо компании. Лагерный капо подчинялся старшине лагеря и командовал заключенными, работавшими не в компаниях, а за колючей проволокой, на внутренней территории. В основном это были ремесленники: башмачники, цирюльники, столяры, плотники, кузнецы и слесари. Он также надзирал за другим привилегированным классом – работниками кухни, чистильщиками картофеля и мойщиками котлов. При этом у каждой такой группы имелись собственные капо – еще одна

¹⁹ Дёрнхау – немецкое название села Кольце (польск. Kolce), расположенного на юго-западе Польши, недалеко от границы с Чехией; подлагерь концентрационного лагеря Гросс-Розен.

должность с огромной властью. *Schülerkapo*, капо чистильщиков картофеля, был первым среди равных. Подобно капитану Дворянской гвардии, некогда служившей папе, он управлял командой людей, каждый из которых сам по себе являлся высокопоставленной особой. Чистильщиков картофеля тщательно охраняли и всячески обхаживали, потому что картофель, как и хлеб, был самой жизнью. Находиться с ним рядом, работать *на картошке* и – в более широком смысле – иметь доступ на кухню уже считалось невероятной привилегией.

Помимо капо лагеря, еще одной почетной должностью была должность *Blockälteste*, старшины блока. Блок состоял из двадцати-тридцати ядовито-зеленых палаток на деревянных каркасах, в каждой из которых жило по двадцать четыре человека. В лагерях, где заключенные уже построили бараки, блоком называлось деревянное строение, вмещавшее от пяти-сот до шестисот человек.

Старшина блока жил в отдельной комнате и имел несколько помощников, что укрепляло его власть. Он тоже забирал себе продукты, прежде чем передать пайки заключенным, и делился запасами с помощниками. Без капли стыда урезал наши рационы, и без того отмеренные так, чтобы едва поддерживать в узниках жизнь.

Выше старшины блока были только старшина лагеря и лагерный писарь, *Lagerschreiber*. По полномочиям они были официально равны, причем во всех лагерях, без исключения.

Кто приобретет больший вес, добьется большей власти и кого будут больше бояться, зависело уже непосредственно от них самих. В некоторых лагерях верховодил лагерный писарь, в некоторых – *старшина лагеря*. Бывало, что старшина обзаводился заместителем, а бывало, что писарь окружал себя пятью-шестью замами. И каждый из них мог рассчитывать на определенную долю влияния. Писарь и старшина лагеря могли рассадить чуть ли не всех своих родственников, друзей и приближенных по должностям «при дворе».

Второй ветвью лагерной аристократии являлись работники кухни, а третьей – врачи и другой медицинский персонал. Там кастовая система была еще более запутанной и сложной, со множеством побочных ответвлений, особенно на тех жутких фабриках смерти, которые по неизвестной причине назывались госпитальными лагерями. В них были главный врач, доктора, работавшие в лагерной клинике, доктора – старшины блоков и главные «санитары», причем у каждого имелись свои заместители и заместители заместителей. И все они обладали реальной властью и могли решать, кому на их территории сгинуть без следа, у кого выпотрошить кишки или выколоть глаза и чье мясо содрать кнутом с голой спины.

Такая иерархия отражала нацистский подход к концепции «разделяй и властвуй». Садистское безумие, охватившее Европу, привело к процветанию этого извращенного принципа в государстве Аушвиц, провонявшей экскрементами стране-призраке, на пограничном пункте которой – у здания кан-

целярии – стояли мы сейчас.

Глава четвертая

Несколько человек с повязками старшин блоков разговаривали между собой на польском. Но в нашу сторону они выкрикнули на немецком, со славянским акцентом:

– Заходить группами по три! Проверка личности!

Один заметил, что некоторые из нас без сил присели на землю. Словно дикие звери, они накиннулись на перепуганную группу и стали хлестать недоумевающих людей резиновыми дубинками по голове. Те, кого задело ударами, вскрикивали от боли и заливались кровью, остальные лишь в ужасе глядели на происходящее.

– Подъем, грязная еврейская шайка! Где вы, по-вашему? В синагоге? Или в театре? Ничего, сейчас узнаете.

То был местный колорит Аушвица. Рабы, избивающие рабов. Первыми на великую землю Аушвица попали депортированные из Польши, преимущественно неевреи. Как и во всех лагерях, аристократия тут состояла из первопоселенцев.

Тем не менее в канцелярии сидели венгры.

Я задал одному из них вопрос:

– Когда вы тут оказались? Как здесь вообще?

Ответом стал лишь ледяной злобный взгляд. Я судорожно сглотнул. Похоже, я имел неосторожность обратиться к одной из лагерных шишек.

Из канцелярии нас повели в душевые. Во время ожидания некоторые успели переброситься парой слов с местными обитателями, проходившими мимо. Теперь мы точно знали: нам придется сдать все, что было при нас. По рукам ходили сигаретные окурки; все наспех жевали и проглатывали еду, еще остававшуюся в карманах.

Возле душевых мы перешли в распоряжение людей с другими повязками на руках. Польских евреев. Последовал горький момент: нам пришлось раздеться догола на пронизывающем ветру. По команде все свалили одежду, обувь и содержимое карманов в общую кучу. Мы еще стояли, дрожа, перед деревянным баракom, где находилась душевая, когда подкатили грузовики. Очередная команда в полосатых робах побросала наши вещи в кузова, и грузовики умчались прочь. Письма, драгоценные фотографии, немногочисленные личные документы, которые нам удалось спасти в Тополе, навсегда уплыли из наших рук. Жест был показательным – *Lasciate ogni Speranza* – «Оставь надежду всяк сюда входящий!» Возврата отсюда нет. Если бы он был, по крайней мере наши личные вещи запаковали бы и подписали, чтобы когда-нибудь, хотя такое и трудно представить, вернуть владельцам. Метод был варварским в своей простоте: миллионы людей таким способом лишали индивидуальности, имен, их человеческого статуса. Как я смогу, оказавшись когда-нибудь дома, доказать, что меня звали так, а не по-другому? Что я – на самом деле я?

Минуты тянулись словно часы. С неловкими кривыми улыбками мы взирали на чужую наготу, на кожу, от холода покрывшуюся мурашками. Наконец – наконец! – нас стали запускать в предбанник. Густые испарения шли от деревянных стен, изуродованных плесенью. В углу с шумом работал нагреватель.

Потные, грязные человеческие тела испускали отвратительную вонь, которую было противно вдыхать, но мы наслаждались долгожданным теплом. В помещении щелкали ножницы: раздетые по пояс «цирюльники» стригли новичков, доставленных на поезде перед нами. Дальше шел второй этап – новоприбывшим машинками брили лобки и подмышки. Профилактика от вшей. Я в изумлении таращился на этих мясников. Неужели в них не осталось ни капли сочувствия?

С грубой небрежностью они толкали жертв друг к другу – швыряли их, щипали и пинали. Ржавой иззубренной машинкой первый драл им волосы под мышками, второй брил головы, а третий – лобки и мошонки. Голые узники выходили из их рук окровавленными и зачастую с серьезными ранами, после чего несчастных выпихивали в следующую дверь.

Ко мне приблизился какой-то мужчина и спросил на ломаном немецком:

- Вы, парни, откуда?
- Из Венгрии.
- Какие новости с фронта?

Слезы стояли в его запавших глазах. Голос дрожал и звучал умоляюще. Я немедленно отчитался:

– Немцы отступают на всех фронтах. Русские одержали решительную победу под Гомелем. На западе готовятся к наземному вторжению. По последним данным, финны, румыны и болгары выходят из игры. Долго это не продлится. Откуда вы?

– Париж.

– Коммерсант?

– Адвокат.

– Давно здесь?

– Больше года. Эти твари убили всех моих родных.

– Тут можно выжить?

– Если очень повезет. У вас шансов в любом случае больше, чем у меня, – на целый год. Мне не повезло. У меня еще дома легкие были слабые. Я долго не протяну.

Он печально взмахивает рукой и сплевывает на пол.

– По крайней мере, в газовых камерах вы не окажетесь, точно, – добавляет француз. – Те, кого отправляют в душевые в этом блоке, идут на работы. Вас сразу увезут – Аушвиц и без того переполнен, так что новичков тут не оставляют. Но это неважно. В сателлитах то же самое.

– В сателлитах?

Он обвел рукой вокруг.

– Тут целая страна. На пять километров во все стороны сотни мужских и женских лагерей, строятся или уже постро-

ены. Аушвиц сам по себе – распределительный узел. Столица. И даже не одна. Другая называется Гросс-Розен²⁰. И таких лагерей множество.

– Возле поезда нас разделили на две группы. Вторую обещали отвезти на грузовиках. Вы не видели их?

Его губы скривились в вымученной улыбке.

– Им велели строиться слева?

– Да. Нам сказали, их посадят в грузовики.

Мужчина в полосатой робе поднимает указательный палец и тычет куда-то в сторону.

– Видите дым из труб? Это Биркенау. Город-крематорий. Этот дым – они. Уже. Те, кто стоял слева.

Пожалуй, я заранее был готов это услышать. Еще дома до нас доходили страшные рассказы о газовых камерах и крематориях. Но теперь все по-другому. Уже не рассказы. Не статьи в газетах. Не отдаленная угроза, а реальность, творящаяся на моих глазах. В непосредственной близости. До крематориев, кажется, не больше двухсот метров. Их дым щиплет ноздри. Может, именно поэтому я просто стою, застыв на месте, перед маленьким французом, больным туберкулезом.

Все, что он говорит, правда, но поверить в нее невозможно. Вокруг цветет май, сверкает утреннее солнце, ходят ту-

²⁰ Гросс-Розен – в период Второй мировой войны в селе с этим названием располагалось главное управление целой сети концентрационных и трудовых лагерей. Йозеф Дебрецени был заключенным лагерей Мюльхаузен в Эйле, Фюрстенштайн и Дёрнхау. В наши дни Гросс-Розен (современное название – Рогозница) относится к Нижней Силезии, Польша.

да-сюда люди, и небо в своей молодой мощи простирается у нас над головами. Но реальность здесь – поднимается вверх столбами черного дыма в двухстах метрах от меня.

Я вспоминаю очки в золотистой оправе и желтый вельветовый костюм Кардоша, того парня из Сегеда, с больным сердцем; Вейца, хромого книготорговца; Вольдмана, моего учителя; и всех остальных, которые там, на квадратной площади, под дулами пулеметов и под взглядами эсэсовцев улыбались с хитрецей и ждали грузовиков. Каких-то четыре часа назад.

Француз смотрит в землю. Вытаскивает из кармана мятую сигарету и очень осторожно вытряхивает из нее табак. Разрывает бумагу пополам, насыпает табак на каждую половинку и сворачивает их в тоненькие трубочки. Одну протягивает мне. Меня наполняет глубокая, искренняя благодарность – я уже понял, насколько высоко здесь ценится табак. Я молча стискиваю его руку. Мы оба отворачиваемся от тянущихся вверх столбов дыма.

Он делает затяжку, и в груди у него хрипит.

– Эти чертовы трубы дымят день и ночь, – медленно и негромко произносит он. – Настоящий промышленный комбинат. Если когда-нибудь кто-нибудь напишет книгу о том, что тут творилось, его сочтут или безумцем, или лжецом. Только представь: месяцы, даже годы, день за днем, в товарных вагонах со всей Европы сюда свозят живых людей. Строят на площади перед станцией. Вот как тех, кто был с тобой.

Наверное, прямо в этот момент там стоит следующая партия. На глаз отделяют больных и старых и отправляют их налево. Потом рассказывают свою байку про грузовики. Тем, кто на нее покупается, некого винить, кроме себя – кто стелил постель, тому в ней и спать.

Он переходит на шепот, оглядывается по сторонам. Делает еще одну затяжку, и огонек сигареты яростно вспыхивает между его бескровных губ.

– Эти грузовики едут напрямиком в Биркенау. Всё начинается так же, как здесь: с душевых. С тевтонской организованностью. *Es muss alles klappen* – Всё должно работать. Это у них в крови. Следует избегать паники, поэтому разыгрывается настоящий спектакль. Сначала несчастным велят раздеться догола. Как вам. Их тоже бреют, делают санобработку. Они думают, что идут мыться. Им даже мыло раздают. Заталкивают в дверь, и они, как все, попадают в душевую. Только вместо воды в насадки подается газ. И наступает конец.

– Остается крематорий, – продолжает он. – Но поезда едут и едут в Германию, полные одежды – мужской, женской, детской. Ничего не пропадает даром. Из костей варят клей, человеческими волосами набивают матрасы и подушки. Там целые горы детских волос. Нацисты дорвались до неограниченной власти, они в своей стихии. Гитлер прекрасно знает, какие инстинкты пробуждает своими «методами» и какое подсознание высвобождает в процессе.

Он снова кашляет. И сплевывает – кровью.

– Я работал в Биркенау. Не во внутренней зоне, где крематории. Заключенных туда не подпускают, а если кто проберется – назад уже не возвращается. Три миллиона человеческих тел уже превратились в дым. Удивительно, что печи до сих пор работают.

С саркастической усмешкой он добавляет:

– По счастью, оборудование у немцев очень надежное. Все отечественного производства, насколько нам известно... самая качественная продукция самых знаменитых компаний.

Сигарета догорает у него между ногтей. В ней осталась в лучшем случае пара волокон табаку. Он осторожно прячет окурки в мятую жестянку. И видит, что я весь дрожу.

– Не бойся, – говорит он. – Здесь тебе не надо бояться. Это обычная душевая, поверь. Отсюда вас сразу отправят дальше. Я знаю. Я работаю тут. Мне повезло.

Француз отходит. Теперь моя очередь. От жесткой хватки цирюльника внутри закипают слезы ярости. Старая тупая машинка прядь за прядью срезает мои волосы. Нас бреют, поставив машинки на «тройку», а потом еще раз проводят по макушке на «нуле».

Четвертый инквизитор кричит:

– Открывайте пасти!

С нами все ясно. У нас пасти, а не рты.

Мне светят фонариком в рот. Нацистская скрупулезность простирается до мельчайших деталей. Мы на пограничном

посту и ничего не можем взять с собой из прошлой жизни. В конце концов, нельзя же допустить, чтобы какой-то жалкий пленник пронес во рту украшение или драгоценный камень – господи упаси!

Наконец – наконец! – мы в душевой. Головки душей торчат из стен длинными параллельными рядами. Мы ждем, когда из них потечет теплая вода. Вместо этого на наши тела обрушивается жидкий огонь. В душ подают кипяток. С криками мы пытаемся укрыться от него, но кипящая лава брызжет со всех сторон, оставляя на коже болезненные ожоги. Мокрых, нас выталкивают в следующую комнату. Там мы проходим сквозь строй заключенных со стопками одежды в руках. Первый швыряет каждому кальсоны из грубой льняной пряжи темно-синего цвета, второй – нательную рубаху из той же ткани, третий – полосатые мешковатые брюки, которые уже хорошо нам известны, а четвертый – куртку. Это происходит с такой скоростью, что нам приходится ловить вещи на лету. Еще один пришлепывает на голову арестантскую шапку, а последний чуть ли не сбивает с ног ударом грубых деревянных башмаков по затылку. Возле двери нам выдают ремни и сразу, в чем мать родила, выкидывают на улицу у дальнего конца барака.

Конвейер по изготовлению рабов: в один конец входит человек, а из другого выходит заключенный.

Глава пятая

Они постоянно нас подгоняют. Трясаясь, я напяливаю обноски на все еще влажное тело. Час назад на мне были крепкие рабочие ботинки, брюки и дубленая куртка, теперь же я отчаянно мерзну. На улице холодно, и штаны из мешковины хлопают на ветру. Деревянные башмаки, тяжелые, как свинец, грохочут с устрашающим звуком, стоит мне сделать шаг. За несколько минут я превратился в узника.

Переодевшись в полосатые робы, мы проходим вперед. С косыми ухмылками и недоверием в глазах осматриваем костюмы друг друга. Через десять минут марша по извилистой дороге между многоэтажными деревянными бараками мы останавливаемся перед одним из них. На столбе указатель: «Блок 16».

Из окна выглядывает немолодая женщина с волосами, выкрашенными в соломенный цвет. Она опирается локтями о подоконник. В этих бараках содержатся арестантки – немногие женщины в царстве мужчин. Там живет целый контингент самых презираемых проституток всех времен: шлюхи Аушвица. Это бордель.

Нацистская предусмотрительность, опять. Женщины там самых разных национальностей, и предназначены они, конечно, не для удовольствия обычных евреев-заключенных, а для эсэсовских солдат, да, возможно, для наиболее отличив-

шихся надсмотрщиков из числа тех арийцев спорного происхождения, которые обладают в лагере некоторыми полномочиями. То же самое касается кино, привилегии для избранных в столице этой Страны Смерти.

Женщина с соломенными волосами бросает на новичков серьезный заинтересованный взгляд. Внезапно она исчезает, а мгновение спустя снова ставит локти на подоконник, но теперь у нее в руках сигарета. Она делает несколько затяжек, а потом, с многозначительным кивком, медленно бросает ее на землю. Прямо передо мной.

Сигарета. Снова сигарета. Отголосок человечности в этом невероятном мире.

Наши глаза встречаются. Я подбираю тлеющую трубочку с табаком и – сам не знаю, почему, – обращаюсь к ней на венгерском:

– *Köszönöm.* – Спасибо.

Кажется, она меня поняла.

Откуда-то из-за угла люди тащат корзины. Пища. Наша первая еда в Аушвице. Мои ноздри еще ощущают аромат свежеспеченных караваев дома, в Бачке; я с отвращением тарашусь на сырое клейкое месиво – манну небесную немецких лагерей смерти, безвкусный черный мякинный хлеб. Нам объясняют, что это паек на два дня. Француз был прав: нас опять рассаживают в товарные вагоны. Мы поедем дальше. Каждому выдают по 150–200 граммов конской колбасы и двойную порцию маргарина, наверное, граммов пятьдесят.

Я нюхаю колбасу, но она так воняет, что я отбрасываю ее в сторону. Непростительная глупость! Что касается маргарина, то мне некуда его положить – он тает в руках, – так что его я выкидываю тоже.

Очередной пеший переход. С самого прибытия нам не дали ни минуты отдыха. Деревянные башмаки тяжелые и невероятно неудобные, словно кандалы. От нервного напряжения и физического переутомления перед глазами стоит пелена. Первый день в Аушвице клонится к холодному закату, а мы все продолжаем идти. Я пытаюсь понять причины столь безжалостной спешки. Неужели в этом царстве барачников нет для нас места хоть на одну ночь? Или где-то возникла срочная необходимость в свежем тягловом скоте?

Мы проходим мимо бесконечных рядов деревянных построек по улицам, запруженным транспортом. Люди в тюремных робах и деревянных башмаках, с разноцветными треугольниками на куртках. За каждым треугольником – украденная личность; вместо отнятого имени заключенный получает номер. Цвет треугольника указывает на национальность. Многие из них, депортированные из Восточной Европы, одеты в гражданское, но с пятнами краски и надписью *Ost* – Восток – на груди или спине. Даже политические заключенные и обычные преступники немецкого происхождения, а также гомосексуалисты имеют собственные отличительные цвета. Аушвиц и для них стал пунктом сбора.

В самом низу этой адской лестницы, конечно же, евреи

с желтыми звездами. Их больше всего – они составляют основную массу лагерной рабочей силы. Неевреи германской, французской, голландской, польской, греческой и других национальностей оказались здесь раньше евреев, так что успели до их прибытия сформировать свою иерархию.

Трубы Биркенау беспрестанно курятся грязно-коричневым дымом над этим кошмарным царством отверженных. Город-крематорий не знает отдыха. Ядовитый газ убивает людей днями и ночами уже несколько лет. Печи, раскаленные добела, содрогаются; груды человеческого пепла рассыпаются искрами в загаженном воздухе. От этого зрелища невозможно укрыться – на него приходится смотреть с рассвета до заката. Сложно перевести взгляд на что-то другое, но – слава господу – наступает ночь, и мрачные контуры труб скрываются под ее непроницаемым покрывалом.

Мы ковыляем длинным неровным строем по ухабистым полям в сторону железнодорожной насыпи. Конвойные окружают нас плотным кольцом, прожектора на сторожевых вышках слепят глаза. Вдалеке, на путях, из темноты выезжает поезд.

Через несколько минут мы уже залезаем в вагоны. Снова по шестьдесят человек в каждом. Тонкий слой влажных опилок покрывает пол. Места хватает, только чтобы скрючиться, тесно прижавшись друг к другу. На этот раз вагон не запирают, но с нами в него вскарабкиваются двое охранников с пистолетами-пулеметами. Самые наивные из нас пытаются

завязать с ними разговор.

– *Maul Halten!* – Заткнись!

Посреди вагона стоит грязная деревянная кадка. Сортир. Такой вонючий, что меня начинает тошнить.

Внутри и снаружи темно хоть глаз коли, но у охранников есть фонарики. Мы отправляемся – двери по-прежнему открыты.

Переезд такой же мучительный, как и предыдущий. Дрожа в своих обносках, я жадно поглядываю на красный огонек сигареты, пляшущий у одного из охранников в руке. Меня одолевает голод. Я впиваюсь в кусок хлеба, который так и носил с собой. Он вкусный.

Съежившись, притиснутые друг к другу, мы пытаемся поспать. Рядом со мной Хаузер; он тоже откусывает хлеб. Хаузер сумел сохранить и свою порцию маргарина.

Кошмарное ночное путешествие кажется невыносимым. После Аушвица и Биркенау, без имени, без личности, не зная, куда нас везут. Оно еще хуже, чем первое. Охранники возвышаются по сторонам открытых дверей. Проскочить мимо них и спрыгнуть в темноту? Мимолетная мысль пьянит как опиум: короткий полет, а потом все будет кончено. Хаузер думает о том же. Он шепчет:

– Надо прыгать. Давай попробуем.

– Безумие! – отвечаю я. – Ты хочешь сбежать или напрашиваешься, чтобы тебя расстреляли? Сбежать отсюда, где все на виду, в любом случае не удастся.

– Кто говорит о побеге? Умереть, умереть...

Он плачет. И механически пережевывает хлеб.

– Умереть всегда успеешь, – говорю я, но мой голос звучит неубедительно даже для меня самого.

– Скажи, а разве такое вообще можно пережить? – спрашивает он.

– Нет.

– И что тогда?

– Нельзя, но мы попробуем.

Хаузер замолкает. Наконец утомление берет надо мной верх, и я впадаю в тревожное полузабытие. Каждую минуту меня будят люди, крадущиеся мимо. Импровизированный сортир посреди вагона постоянно занят. От мякинного хлеба и супа из протухшей конской колбасы у многих начался жестокий понос. Временами я все-таки умудряюсь задремать. Как хорошо было бы заснуть по-настоящему! Но это невозможно. Ночной холод щиплет меня за грудь.

Сколько будет продолжаться поездка? Два часа? Пять? Рассвет просачивается в распахнутые двери. Равнины остались позади, теперь мы катимся по лесистым предгорьям. Настороженные и неподвижные охранники внимательно наблюдают за нами. Они тоже не спали – курили свои сигареты и трубки, перешептывались между собой ночь напролет. Теперь они вытаскивают запасы еды. Тот же хлеб, что раздавали нам, появляется из их вещмешков. Они аккуратно намазывают его маргарином, отхлебывают из фляжек.

За стеной вагона гудят электрические провода. Где мы и который час? Прошло достаточно времени с момента отъезда из Аушвица, но поезд тащился медленно. Мы можем смотреть на проплывающие мимо пейзажи, но подходить к дверям строго запрещено. Зарешеченное окошко в нашем распоряжении, как было вчера – год назад, сто лет назад, – когда нас везли в Аушвиц из дома.

Поездка занимает целую вечность. Это неважно, лишь бы приехать – куда угодно, где можно вытянуть ноги, забыться сном. Выздороветь после страшной болезни.

Внезапно поезд дергается на стрелке, как уже бывало, и замедляется. Мы приехали. Приехали куда-то.

И правда. Поезд рывком останавливается, и вооруженные охранники спрыгивают на землю. Мы подходим к дверям, впитывая в себя картины окружающего мира. Состав стоит возле крошечной одноэтажной станции, скорее, даже полустанка. Мюльхаузен.

За станцией, вокруг нее, со всех сторон – густой темно-зеленый лес; на трех параллельных путях сверкают груды каменного угля. Зрелище необыкновенное и очень красивое. Солнце играет на черных обломках сквозь кружево зелени. Над головами переплетаются сетью электрические провода.

Маленький горный полустанок безлюден. Несколько старых грузовиков ржавеют тут, кажется, уже много лет.

– Нижняя Силезия, – пробегает шепоток. – Карьеры и угольные шахты.

Группами по пять мы выходим на ближайшую лужайку. Выстраиваемся квадратом на траве, месим землю деревянными башмаками. Нас уже ждут. На краю лужайки установлены два стола, за ними сидят эсэсовцы. Вокруг стоят еще – много. Они меряют нас взглядами, словно скот на деревенском рынке. Жестикулируют, тычут пальцами.

Дальше короткая процедура – надо по очереди подходить к каждому из столов. За первым получаешь картонную табличку, подвешенную на веревке, и надеваешь на шею. За вторым читаешь номер на картонке.

33031. Вот мой номер. С этого момента я уже не я, а 33031. Всего лишь число – в отличие даже от уголовника, приговоренного к смертной казни, чьи документы хранятся в тюремном архиве.

Я всегда плохо считал и не видел в цифрах никакой магии. Для меня ценностью было слово. Я так плохо запоминаю цифры, что несколько раз забывал собственный номер телефона. И тем не менее мой единственный отличительный признак на обозримое будущее немедленно запечатлевается у меня в мозгу. Фамилия и имя, данное мне родителями, указанные в свидетельстве о рождении, ласковые прозвища, которые придумывали для меня мама и любимые, все исчезает. *Dreiunddreissingnulleinunddreissig* – «Триста тридцать, тридцать один», – вот как теперь меня зовут. Только этим – и ничем иным – я отличаюсь от 74516 или 125993.

Следующая остановка – пустой сарай. Какая-то заброшен-

ная мастерская. Там тоже стоит стол, за ним сидят два офицера. Они приказывают нам раздеться. Голые мы по очереди забираемся на большой плоский помост. Поворачиваемся, словно натурщики перед художником. Врач-эсэсовец пристально смотрит на нас из-за стола. Так это опять медицинский осмотр? В будущем мы так и не поймем ни принципов, ни результатов этого отбора.

Сойдя с помоста, мы, измученные, стараемся поскорей нацепить обратно одежду. Снова на лужайку. Уже перевалило за полдень, а со вчерашнего утра я съел только немного мякинного хлеба. Меня терзает голод, от слабости кружится голова. Я никогда не пойму, как после всего выдержал двадцатикилометровый пеший марш вверх по горе.

Мы стартовали с короткими интервалами группами по двести человек. То, с кем я окажусь вместе и в какой лагерь попаду, было всего лишь игрой случая.

Группки домов по сторонам ухоженных горных дорог – это деревни. В каждой выделяется несколько строений покрупнее, какая-нибудь фабрика или шахта. Деревеньки крошечные, но в них обязательно есть банк, пивная и местная штаб-квартира нацистской партии с развевающимися флагами и цветами в горшках.

Наши новые охранники в Мюльхаузене – уже не эсэсовцы с пистолетами-пулеметами, а молчаливые, мрачные пожилые солдаты территориальной армии Вермахта в застиранных униформах болотного цвета. Никакого отдыха: нем-

цы же не устали. А до нас им дела нет. С каждым шагом деревянные башмаки впиваются в натертые до крови ноги; грубая кожа по краям режет, словно ножом, горящие щиколотки.

– *Los! ... Los! ... Bewegung! ...* – Быстро! Быстро! Шевелитесь!

Нас гонят палками, подталкивая вперед. В конце процессии кто-то скулит, словно раненое животное, потом раздаётся крик, который переходит в стон... Один из нас остановился, чтобы снять рабочие башмаки, полные крови, и его до полусмерти избили прикладом винтовки. Все обессилели. Кажется, этот изнурительный поход не закончится никогда.

Мы проходим пару лагерей по разным сторонам дороги, соединяющей деревни между собой. Все они одинаковые. Зеленые круглые палатки, сторожевая вышка с пулеметами и караульными, бараки за колючей проволокой, еле передвигающие ноги узники, надзиратели с трубками в зубах и надо всем этим – силезское небо, по которому носятся туда-сюда облака, тоже везде одинаковые.

Дорога поворачивает на холм, заросший густым лесом. Люди в полосатых робах копошатся на вершине, примерно в тридцати-сорока метрах над нами. Такие же, как мы, узники. Кирками и лопатами они копают желтую глину на холме. Грузят тяжелые комья из канав в «японки» – железные вагонетки, похожие на тестомесильные бадьи. Другие подхватывают вагонетки и сталкивают вниз. У них в руках желез-

ные пруты, чтобы убирать с дороги камни. Слева, на вершине другого холма, уже знакомые нам зеленые палатки. Над ними возвышается караульная вышка с охранником при пулемете. Вагонетки протестующе скрежещут, где-то, невидимая нам, работает бетономешалка. Опять эти крики:

– Быстро! Шевелитесь! Живо!

Кажется, мы на месте.

Глава шестая

Муниципалитет, на территории которого находится лагерь, называется Эйле. Это живописное местечко в Нижней Силезии; несмотря на наличие здесь угольных шахт, высоко в горах располагаются также санатории. Некогда больные со слабым сердцем прятались в них от летней жары. В сезон здесь обычно прохладно, и караваны облаков закрывают землю от палящего солнца. Если вы одеты по погоде, у вас есть имя, деньги, сигареты и газеты, то побыть гостем в санатории – очень даже неплохо.

Мы узнали это от первых резидентов лагеря, который до сих пор строится; мы – третья партия, прибывшая сюда. Пока нас всего несколько сот человек. Девяносто процентов – греки, остальные голландцы, французы и поляки. Есть несколько человек из Будапешта. Естественно, все евреи.

Зарождающаяся иерархия лагеря формировалась по национальному принципу. Старшина – невысокий худой французский еврей. У него есть имя – Макс, и, по слухам, он владел в Париже ночным клубом с безупречно плохой репутацией. Он – всемогущий повелитель, злобный, беспощадный, вездесущий хозяин. Его дубинки боятся не меньше, чем хлыста и револьвера эсэсовского шарфюрера или коменданта лагеря.

Михель, лагерный писарь, из Амстердама. Работы в лагере

ведут три компании. Вальденбургское отделение Georg Urban AG роет землю, Kemna AG бурит туннели, а Baugesellschaft строит бараки для будущего поселка узников. Вся лагерная аристократия состоит из трех капо компаний, их заместителей и старшин блоков, *Blockälteste*. Естественно, помимо старшины лагеря – верховного капо – и лагерного писаря. Кухни нет, поэтому нет и кухонной аристократии. Высокопоставленные «медики» также пока отсутствуют. Суп привозят в котлах-термосах на грузовиках неизвестно откуда.

Наше прибытие особой суеты не вызывает. Рабочие с вершины холма бросают на нас мимолетные равнодушные взгляды. Тощий старшина лагеря получает список от главного охранника, сопровождающего колонну. Зачитывает вслух номера. Палатки ждут нас на холме, пустые, только отстроженные. Впервые я вижу их так близко. Палатки круглые, из фанеры. Внутри каждой по периметру круглого участка земли, похожего на цирковую арену, – голый деревянный пол. Все палатки одного размера и поделены на двадцать четыре остроугольных треугольника. Каждый ровно такой величины, чтобы на нем мог кое-как разместиться очень худой человек. Тем не менее «жилыцы» упакованы как сардины в банках, потому что в каждую палатку заталкивают по тридцать узников. Спокойно отдохнуть точно будет невозможно.

Мы приносим опилки – на них нам предстоит спать. В лагерях смерти опилки заменяют солому. Нигде я не видел ни соломинки. На этой бесплодной, глинистой, засоленной зем-

ле солома ценится высоко – это корм для скота. Нам выдают по два тюка опилок на палатку: только-только чтобы присыпать пол из влажных досок. Тонкие синтетические одеяла укладываются на наши примитивные спальные места, и тотчас же мы – впервые! – слышим страшное слово, от которого наши сердца впоследствии будут стремительно подскакивать к горлу:

– *Appel!* – Перекличка!

Перекличка – это общий сбор, на котором отдают приказы, зачитывают список работ на день, а также допрашивают, выносят приговор и приводят его в исполнение, без всякой отсрочки, на месте. Обычно перекличка проходит на рассвете, перед отправкой на работу, и по вечерам, когда мы возвращаемся в лагерь. Обычно. Но ржавый рельс, свисающий с дерева, – лагерьный гонг, – звонит практически ежедневно перед отбоем или в те немногие часы, что есть у нас для отдыха. Его звон означает внеочередную перекличку. И мы никогда не знаем, сколько времени простои́м, пока нас будут пытаться чуть ли не до смерти, на ветру, под дождем, под неусыпными взглядами; более того, мы не знаем, свидетелями чему можем стать и кто будет жертвой смертного приговора, оглашенного и тут же исполненного.

Неожиданно нас вызывают на первую перекличку. Большим квадратом мы строимся перед палатками. Те, кто был раньше нас, стоят по колоннам в зависимости от компании, на которую работают. С краю – небольшая группа лагер-

ных уборщиков. В середине живого квадрата – старшина лагеря и писарь. Напыщенные капо компаний расхаживают перед своими колоннами, выравнивая их ударами дубинок. Измученные до обморока, изголодавшиеся люди с немым ужасом таращатся в центр квадрата. Старшина выкрикивает во все горло:

– *Achtung!* – Внимание!

Узники замирают в отчаянном напряжении. Привычным движением руки сдергивают тюремные шапки с бритых голов.

Шарфюреру СС лет сорок или пятьдесят. Каждый вечер после переклички он достает свою скрипку и неуверенно наигрывает сентиментальные плаксивые мелодии мерцающим звездам. Он уже забил до смерти дубинкой двадцать семь человек, а девять застрелил из револьвера во время перекличек, на глазах у остальных заключенных. Это дюжий светловолосый тевтон с водянистыми голубыми глазами и очками на носу. Дома в Померании у него своя бойня. Теперь ею управляет жена. Ничего не поделаешь, война, долг зовет...

Револьвер торчит из кобуры, за ремень заткнут хлыст. Он выходит в центр площадки к писарю и старшине, держащему список. В их сопровождении движется дальше мимо рядов. Старшина лагеря зачитывает наши фамилии, по пять за раз, и шарфюрер щелкает кнутом над головой первого в каждой группе.

Пока что все в порядке. Избави боже, чтобы было не так.

Теперь время для инквизиции. *Lagerälteste* заглядывает в листок у себя в руке и кричит:

– 21825!

Человек выходит из колонны и бредет к центру, с трудом заставляя переступать непослушные ноги. Он знает, что его ждет, потому что перекрестный допрос обычно следует за жалобой, поданной гражданским надзирателем или эсэсовским охранником.

– Вонючий еврей, с десяти до половины первого ты уклонялся от работы. Где ты был? Мы что, по-твоему, кормим тебя тут бесплатно?

Ответа мы не слышим – только свист хлыста. И это еще разминка.

21825 встает на четвереньки. Это лишь формальность – чистая традиция, – поскольку удары все равно приходится на голову.

– Пятьдесят! – объявляет скрипач.

Приговор исполняет старшина лагеря. Мясник из Поме- рании не углубляется в детали, но внимательно наблюдает, и старшина вкладывает в удары все силы и даже более того, потому что если лагерный бог заподозрит его в снисхождении, то удары, как уже случалось, посыплются на голову палача.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.